



VI. ЗНАКОМСТВО С ПЕТРАШЕВЦЕМ ХАНЫКОВЫМ

Наибольший интерес для студентов представляли лекции по русской словесности, славянским наречиям и всеобщей истории.

Лекции Никитенки, которые назывались «педагогическими», проходили обычно довольно оживленно, так как были посвящены главным образом разбору самостоятельных работ студентов, чтению ими своих статей, обсуждению всевозможных литературных вопросов без какой-нибудь строгой программы.

Чернышевский намеревался взять одну из выдвинутых Никитенкой тем — анализ «Героя нашего времени»: каждую сцену этого произведения он столько раз и так внимательно читал! Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как юноша переписывал по ночам страницу за страницей лермонтовскую повесть, однако с прежнею свежестью ощущал он неотразимую ее силу. Но затем у него мелькнула мысль написать работу на более сложную тему из предложенных Никитенкой — например, об отношении искусства к действительности.

Размышляя над выбором тем, безвестный студент третьего курса философского факультета еще не уга-

дывал и едва ли даже смутно предчувствовал тогда, что именно этой «отвлеченной» теме суждено будет сделать через несколько лет его имя знаменитым, что он, Чернышевский, наполнит ее животрепещущим содержанием, создавая свою магистерскую диссертацию, которая породит бурю споров и откликов за стенами университета, расколчит читателей на два лагеря, заставит одних превозносить его, а других — клеймить и ненавидеть. Но в тот раз он так и не решился остановиться на этой теме или на теме о Грушницком, а принялся за другую работу, следствием чего явилось потом знакомство с петрашевцем Ханыковым.

Он начал писать для Никитенки психологический этюд о Гёте, находясь под живым и сильным впечатлением от «Поэзии и правды», только что прочитанной им в оригинале.

В один из ноябрьских дней 1848 года, после того как Чернышевский, прочитав на лекции у Никитенки свою работу «Об эгоизме Гёте», вышел в «шинельную», к нему вдруг быстро подошел незнакомый молодой человек и спросил:

— Вы, кажется, читали у Никитенки?

— Я.

— Так вас сильно интересует разгадка характера Гёте?

— Да, конечно, сильно.

— Ну, так это сделано уже в науке.

— Вы разумеете Гегеля, сумевшего обрисовать характер поэта в десяти строках о его мраморном бюсте?

— Нет, Фурье, который нашел гамму страстей, двенадцать первоначальных и их сложение, которое составляет основу всякого характера.

Молодой человек назвался Ханыковым. Оказалось, что он петербуржец, бывший студент восточного фа-

культета, уволенный в прошлом году за «неблагонадежное поведение». Ему было около двадцати четырех лет, но выглядел он несколько моложе.

Они вышли из университета вместе. По дороге Ханыков продолжал рассказывать Чернышевскому о законах гармонического развития коренных человеческих стремлений или страстей, как их называет Фурье.

Чернышевский молча слушал его с неослабевающим вниманием. Все, о чем говорил Ханыков, было ново и незнакомо ему. Странно как-то звучали слова: фаланга, сериарная организация работ, ассоциация, фаланстер¹.

Первоначально ему показалось, что Ханыков говорит слишком порывисто и сумбурно.

«Уж не бестолковость ли это чересчур ревностного прозелита?» — подумал он, но потом упрекнул себя за предвзятость и поспешность своего заключения. В словах Ханыкова дышала такая вера в правоту идей его учителя, призванного, по его мнению, преобразовать планету и человечество, живущее на ней!..

Он рассказал Чернышевскому о жизни французского мыслителя. О том, как Фурье пришел к мысли о фаланстере, о сериарном распределении занятий. И, может быть, в этот день на Невском проспекте перед будущим автором снов Веры Павловны, в которых он хотел поднять завесу над «тайнами будущего» и показать картину радостной жизни освобожденного человечества, — может быть, еще в этот день впервые

¹ Фалангой в произведениях французского утопического социалиста Фурье обозначается основная ячейка нового общественного устройства, фаланстером — ее дворец, центр деятельности, место собраний и развлечений. Описание фаланстера дано в главе «Четвертый сон Веры Павловны» романа «Что делать?» Чернышевского.

мелькнули перед ним смутные образы вечной весны и вечного лета на свободной земле счастливого труда.

— И это не мечта!.. Не утопия!.. — восклицал Ханыков. — Прочтите об этом в его «Теории всеобщего единства»; там все это доказано математически. Прочтите, и вы согласитесь, что самый последний из работников фаланстера будет счастливее сильнейшего из владык.

Идеи Фурье — это целый мир, заключающий в себе несметные богатства. Что будет, спрашиваю я вас, если мы разработаем весь этот рудник?

Невежество и косность большинства всегда противятся новым идеям. Но можно ли бояться этого? Он был не понят и не оценен на родине. Но слова его не потеряны для мира. И здесь, во льдах Севера, есть люди, которые понимают единство, связь, солидарность, свободу, стройный прогресс, непрерывное счастье.

— Отечество наше в цепях, — продолжал Ханыков, — деспотизм и невежество заглушили его натуральные влечения, но преображение близко...

Они остановились на углу Конюшенной. Ханыков стал говорить о народной вольнице, о Великом Новгороде.

— Надо восполнить пробел в системе Фурье. Увлечшись ею, он пренебрег историческими преданиями, а если касался их, то бегло и поверхностно. Надо заняться разбором русской истории, найти в ней авторитет народный...

Прощаясь, Ханыков сказал:

— Если хотите, я дам вам Фурье. Я живу в доме Мельцера, в Кирочной. Приходите в субботу вечером. Буду ждать вас.

Ханыков не случайно упомянул о льдах Севера. Он был одним из самых ревностных миссионеров и пылких

пропагандистов учения Фурье, распространявшегося кружком Петрашевского. В марте 1848 года дошло до сведения властей, что «титулярный советник Бутаевич-Петрашевский, проживающий в Петербурге в собственном доме, обнаруживает большую склонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила», что он, «имея большой круг знакомства, около 800 человек, составил с некоторыми общество; что к нему постоянно в назначенный для приема вечер, по пятницам, собиралось от пятнадцати до тридцати разных лиц, гражданских и военных, одинаковых с нам мыслей; что они, оставаясь от трех и до четырех часов за полночь, в карты не играли, а читали, говорили и спорили».

Петрашевский и его друзья начали действовать еще в 1845 году. Сначала дело ограничилось устройством коллективной библиотеки и выписыванием через петербургского книгопродавца Лури запрещенных социалистических изданий. Постепенно библиотека стала «главной заманкою посещать Петрашевского».

Пошли вечера по пятницам, сперва немногочисленные и носившие «ученый характер». К Петрашевскому приходили побеседовать о новых книгах его знакомые, штатские и военные, молодые офицеры и юнкера, учителя и студенты.

Неустанно деятельный, много потрудившийся над самовоспитанием, Петрашевский был человеком сильной души и большой воли.

Будучи прирожденным агитатором и отличаясь кипучей энергией, он всюду завязывал знакомства, ища возможности шире распространить свои заветные мысли.

Среди посещавших его в 1845—1846 годах бывали поэт Плещеев, публицист Милютин, критик В. Май-

ков, будущий автор «России и Европы» Данилевский, Салтыков-Щедрин, гвардейский офицер Момбелли, студент Ханыков... В следующую зиму стали бывать Ф. Достоевский, А. Майков, Энгельсон и другие.

Знакомые Петрашевского приводили к нему своих приятелей, появлялись все новые и новые лица, собрания становились оживленнее и разнообразнее.

Велись теоретические споры о коммунизме, читались рефераты о политической экономии, о семье и религии, толковали о крепостном праве, о гласности судопроизводства, о свободе печатного слова, о городских новостях и мерах правительства.

При всем разномыслии петрашевцев, при всей пестроте состава посетителей его пятниц все же роднило их всех и как-то соединяло общее недовольство существующим порядком, желание перемен и улучшений в России.

Воспитывавшееся в беспросветной ночи николаевского царствования, страдавшее, по словам Герцена, болезненным надломом по всем суставам, поколение это словно бы успокаивало свои растравленные раны мечтами о грядущем общечеловеческом счастье.

Портрет одного из петрашевцев в «Былом и думах» начинается с общей характеристики самого типа петрашевцев: он «был тогда для меня довольно нов. В начале 40-х годов я видел только его зачатки, — пишет Герцен. — Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня, до появления Чернышевского. Это — тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные».

Свыше года жизнь кружка была предметом пристального наблюдения со стороны правительственных

агентов. Известность и влияние кружка росли на глазах у полиции, ожидающей только сигнала, чтобы начать свое дело.

Между тем в среде петрашевцев стали обозначаться расхождения, наметились раскол и раздробление, естественные при отсутствии определенной программы и ясных целей. Одни стали поговаривать о тайном обществе и необходимости более решительных действий для подготовки восстания; других, наоборот, пугала всякая мысль о перевороте. Расслоение стало неизбежным.

Самого Петрашевского уже не удовлетворяли результаты собраний, происходивших у него. В марте 1848 года он жаловался Спешневу, что посетители пятниц «ничего не знают и учиться не хотят... споры ни к чему не ведут, потому что у них у всех основные понятия не ясны».

Знакомство Чернышевского с Ханыковым было, конечно, не случайным. Ханыков, в эту пору раскола оказавшийся в группе «чистых фурыеристов», вербовал будущих сторонников.

Он заметно выделялся в кружке Петрашевского самобытностью и живостью ума, решительностью характера и страстной убежденностью.

Благодаря этому знакомству двадцатилетний Чернышевский соприкоснулся с левым крылом революционной интеллигенции конца сороковых годов, приглушенная деятельность которой предшествовала гораздо более бурному и неизмеримо более плодотворному идейно-политическому движению шестидесятников, возглавленному впоследствии им самим.

Если петрашевцы еще смутно представляли себе сущность будущих социальных преобразований в России, то революционные демократы шестидесятых годов

уже отчетливо осознали, что только революционным путем, путем решительного уничтожения самодержавия и крепостничества, народ может добиться освобождения.

Юноша Чернышевский стоял на пороге общества петрашевцев. Если бы кружкам этим суждено было просуществовать хотя бы еще один год, то Николай Гаврилович, безусловно, разделил бы тогда участь петрашевцев...

Знакомство с Ханыковым не успело, в сущности, углубиться, окрепнуть и перейти в тесную дружбу, в неразрывную идейную связь.

Даже в беглой передаче Ханыкова общие мысли Фурье заинтересовали юношу, хотя он с присущей ему проницательностью сразу понял, что большею частью это несбыточные мечты. Но и в этих стремлениях фантазии почувствовал он некое отражение здоровой, истинной потребности полного наслаждения действительной жизнью.

Его тронули вера и убежденность автора «Теории четырех движений», который тридцать лет, среди лишений и бедствий, вынашивал в голове план переустройства человеческого общества и изо дня в день проходил по парижским улицам к одному дому, в котором он ожидал в определенный, обусловленный час кандидата, то-есть того, кто согласился бы принести ему миллион для испытания на деле его учения.

Удивительны настойчивость и постоянство, с каким Чернышевский думал о том, что однажды заняло его воображение. Вот хотя бы изобретение регretium mobile. Он был еще четырнадцатилетним мальчиком, когда впервые пришла ему в голову мысль об устрой-

стве особого часового прибора с помощью ртутного термометра. Как-то в Саратове, когда внезапно расхворалась бабушка, его послали за врачом. Ему пришлось довольно долго поджидать доктора. И вот тут-то, в уютном врачебном кабинете, заставленном всевозможными препаратами и приборами, он и набрел на эту идею о двигателе, с которой не расставался потом в течение многих лет.

С того дня он очень часто с лихорадочным волнением размышлял над разными усовершенствованиями своего проекта, а проект между тем постепенно видоизменялся, становился все шире, пока Чернышевский не пришел к убеждению, что он стоит на пути к изобретению машины, способной, как ему казалось, производить непрерывное движение. Первые детские мечты о последствиях этого изобретения переносили его прямо в Зимний дворец. Император, призвавши к себе Чернышевского, говорит ему: «Вот ты изобрел машину, которая изменит теперь вид земного шара, избавит всех от работы телесной, от лишений, которые терпит человек в мире физическом. Что тебе надобно в награду за это?»

Чего же он может пожелать? Мысленный ответ юноши должен был показать властителю величие души, бескорыстие и простоту того, кто дарует миру ни с чем не сравнимое благо: «Переведите сюда, в Петербург, в Сергиевский собор, моего отца...»

Он любил возвращаться к мечтам о своей машине и нередко думал о себе, как об орудии провидения, как об избраннике, призванном снять с людей проклятие: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой...»

Только бы добиться успеха в опытах! Человечество забудет навеки о нищете, невежестве, рабстве и лишениях. Тем самым будет устранено препятствие к реше-

нию величайших задач. «Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания». Тогда единственной наставницей его действительно будет природа, а первым правилом поведения — заповедь, которую Раблэ начертал на воротах Телемского аббатства: «Делай, что пожелаешь».

Неудачи с опытами не смущали и не разочаровывали его. Он упорно продолжал поиски новых, по его мнению, более верных путей, продолжал мысленно уточнять, исправлять, перестраивать детали своей машины. В этих исканиях прошло несколько лет, пока практически он не убедился, наконец, в нереальности *perpetuum mobile*.

Сначала в Петербурге мечты о машине не то чтобы забылись, но были оттеснены на второй план. Юноша сознательно схоронил их до времени, в глубине души, решив, что без средств невозможно приступить к практическим исследованиям.

Однажды у Чернышевского явилось сожаление, что никто другой не сможет прочитать его дневниковых записей, если он умрет, не успевши разобрать и перевести на общепитаемый язык то, что было записано условной скорописью. Глядя на тетради, испещренные бисерно-мелким, необычайно сжатым почерком, на эти сливающиеся торопливые записи, сделанные с помощью четырех алфавитов — русского, греческого, латинского и арабского, по системе понятных только ему самому замен и сокращений, где многие слова обозначались лишь буквами или особыми черточками, он думал о судьбе этих зашифрованных дневников и о своей будущности.

Он предчувствовал, что не останется в разряде людей обыкновенных, — более того, он понимал уже, что его ждет большая будущность, что он станет чело-

веком замечательным, — так разве не следует сохранить для биографов эти бумаги?

Он решил, что ключом к его шифру может послужить лермонтовская «Княжна Мери», которую он и переписал по такой же точно методе, изобретенной им еще в Саратове.

Мог ли Чернышевский предполагать тогда, что не биографы будут первыми трудиться над расшифровкой его дневников, а что начало этому уже через тринадцать лет положат, по просьбе полиции, опытные чиновники министерства иностранных дел, которых призовет на помощь Третье отделение!

Кроме судьбы записок, беспокоила его еще судьба проекта задуманной им машины вечного движения, с которой главным образом и связывались еще с детских лет мечты об ожидавшем его бессмертии.

Ему хотелось привести на всякий случай в порядок все чертежи этой машины, доработать их.

До сих пор он не сделал еще ни одной доведенной до конца попытки построить ее модель, а только вынашивал в голове проект, в осуществимость которого верил нерушимо. Помимо основного плана, мысли его были заняты одно время побочным проектом, довольно близким в общих чертах к проекту прибора, изобретенного как раз в 1848 году Гаррисом.

Известие об этом изобретении Гарриса, вычитанное Чернышевским в хронике «Отечественных записок», в первую минуту смутило его — оно отнимало у него право на первенство.

Ведь он думал построить нечто схожее с этим прибором, используя только вместо Брегетова термометра длинный цинковый прут, один конец которого должен был быть прикреплен, а другой бы растягивался и сжимался.

После этого он с еще большим усердием стал размышлять над своим изобретением.

Чем ближе знакомился Чернышевский-юноша с фантастически смелыми и разнообразными планами социалистов-утопистов, задавшихся целью облегчить существование человечества, тем реальнее казалась ему возможность утвердить и упрочить когда-нибудь всеобщее счастье изобретением вечного двигателя.

Будущее... Оно рисовалось ему еще неясным. Кем он будет — философом или ученым, писателем или политиком? Кому он будет равен? Порою внутренний голос говорил ему, что, может быть, именно он придаст когда-нибудь решительно новое направление науке, духовной жизни человечества, что имя его станет благодаря этому в одном ряду с именами Платона, Коперника, Ньютона, Ломоносова.

Такие люди оставляют наследие векам, дают работу целым поколениям: сотни талантов трудятся потом над разработкой их наследия.

Однако он не принадлежал к категории тех мечтателей, которые считают почему-то унижением для собственного достоинства трудиться над обыкновенными вещами, а мирятся лишь на том, что они призваны создать восьмое чудо, в итоге же погружаются в заурядную бездеятельную жизнь фантазеров.

Он старался оттеснить на второй план мечты о великом пути, хорошо сознавая, что только поверхностному взгляду такой путь кажется прямым и сразу открывающимся.

У студентов интерес к политике стал заметно угасать по мере того, как борьба во Франции принимала все более плачевный для революционеров оборот. Ред-

ко теперь слышались политические разговоры, которые еще весною постоянно поддерживал между студентами малознакомый Чернышевскому морской офицер, приходящий время от времени на лекции Куторги

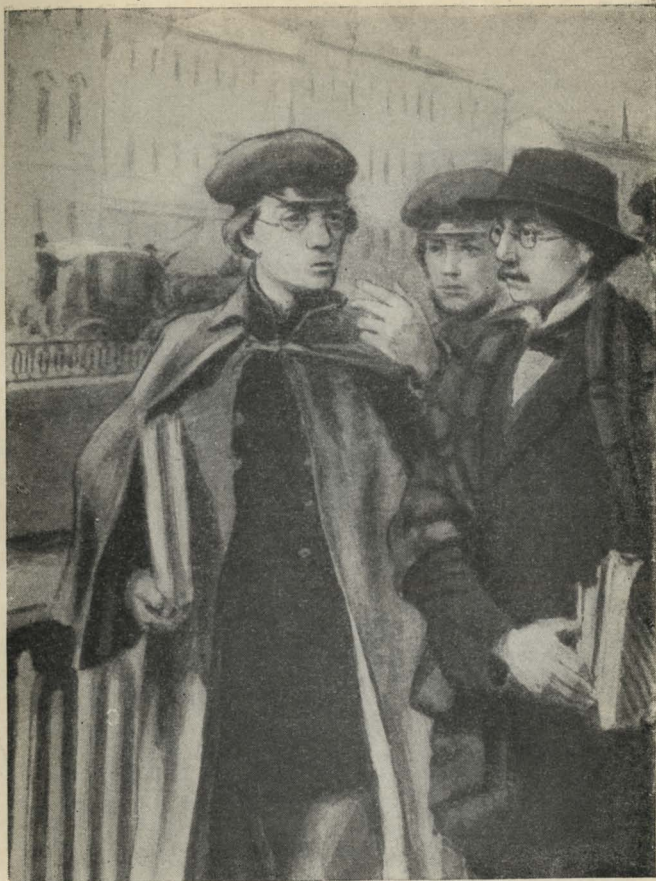
Уловив перемену в настроении молодежи, он стал реже и реже появляться в университете, а потом и вовсе исчез с горизонта, о чем Чернышевский жалел, потому что намеревался как следует познакомиться и сблизиться с ним

Это нараставшее вокруг безразличие к политической жизни не коснулось Чернышевского. Напротив, его интерес к ней углублялся и становился острее. С неподдельным волнением и трепетом следил он за быстрой сменой событий в потрясенной Европе, и ему хотелось как можно полнее изучить новейшую историю, которая пролила бы свет на все происходящее, показала бы истинные цели и намерения современников, помогла бы раскрыть подлинный смысл совершающегося

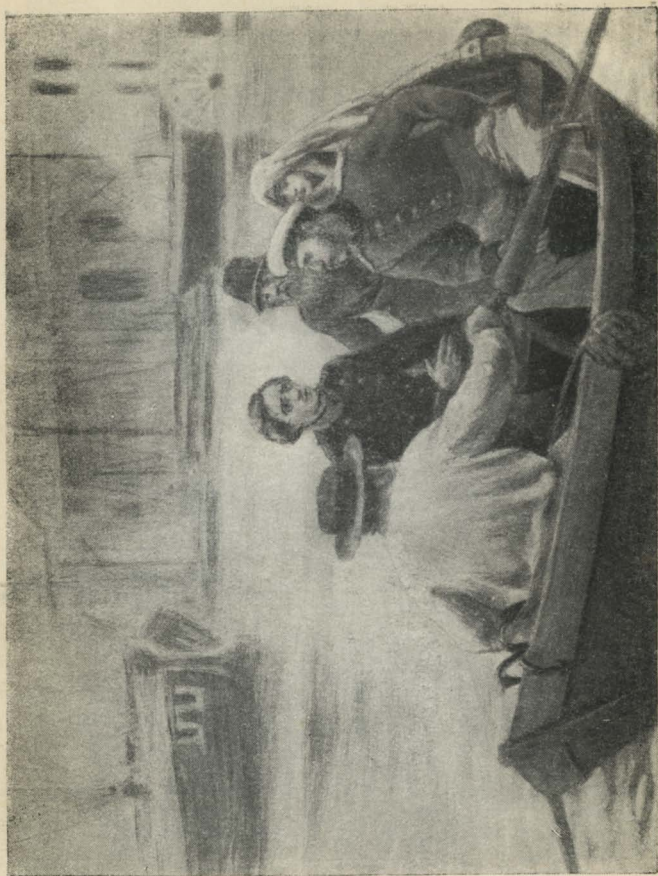
«Как, в самом деле, не знать, что и кто теперь действует на свете, и что думать, и за кого бояться, кому сочувствовать, чего надеяться»

Богатейшее разнообразие эмоциональных оттенков, которыми окрашено отношение юноши Чернышевского к идеям, к событиям, к действующим на исторической арене лицам, поразительно. Можно подумать, что речь идет не о государствах, не о нациях, классах и партиях, не о философских доктринах и социальных программах, а о самых близких ему людях. Это были дела, непосредственно касающиеся его самого, заставляющие его то восторгаться, то благоговеть, то раздражаться гневными тирадами, то благословлять, то презирать и ненавидеть

С каким энтузиазмом и даже благоговением гово-



Н. Г. Чернышевский и М. Л. Михайлов в университетские годы. (Рис. художника Ю. М. Казмичева.)



Н. Г. Чернышевский-студент беседует с людьми из народа при переезде в лодке через Неву. (Рис. художника Ю. М. Казмичева.)

рит он о самоотверженных и смелых поступках революционеров, о мужестве их и твердости, которые поразили мир!

Гневные восклицания вырываются у него по адресу тогдашних усмирителей народных волнений во Франции, Германии, Австрии, Италии и Венгрии. Смертельной ненавистью ненавидит он Кавеньяка, Виндишгреца, Радецкого «Прусское правительство — подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало, я не нахожу слов, чтобы выразить то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма»

Чернышевский был потрясен казнью Роберта Блюма¹. Мысль об этом вопиющем злодеянии не дает ему покоя.

Поистине библейским пафосом проникнуто проклятие, которое шлет он убийцам: «Да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей!»

Со всею остротой встала впервые тогда перед молодым Чернышевским идея жертвы. Его решимость и готовность отдать всю свою жизнь для блага закрепощенного народа вылилась в одной из самых ярких дневниковых записей: «в сущности, я несколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и цар-

¹ Немецкий политический деятель, демократ, член франкфуртского Национального собрания, расстрелянный в Вене в 1848 году после взятия города войсками австрийского генерала Виндишгреца

ства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден».

Уже тогда основанием его взгляда на жизнь стала мысль, что если человек решается на благородный поступок наперекор личным интересам, эгоистическим расчетам и наклонностям, то они не покидают его, а «переходят в это его состояние и прилепляются, как могут, к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение». Желания, подчиняясь долгу, сливаются с ним и находят в этом состоянии гармонию.

Делом всей своей последующей жизни доказал Чернышевский, что его юношеские мечты о жертве во имя будущей революции были не порывами мимолетного благородства, а твердым убеждением в том, что «человек, самоотвергающийся из разумных целей, всегда пожертвует собою для них».

Через много лет он всесторонне развил эту тему в романе «Что делать?». Но еще в юности мысль его билась над решением вопроса — как согласовать свои убеждения с поступками, как стать последовательным в своих действиях и неразрывно слить свои взгляды с жизнью?

Сближение с Ханыковым оказалось благотворным для Чернышевского, который нашел в своем новом друге умного, философски образованного собеседника. Из бесед с Ханыковым и из книг, которые Чернышевский брал читать у него, он за короткое время узнал по-настоящему об учении утопистов, о «Положительной философии» Конта, о системе Гегеля и, наконец, о Фейербахе. С этого времени Чернышевский стал систематически и основательно изучать сочинения этих философов, читая уже не отрывочные изложения их (как случалось ему прежде знакомиться, например, с Гегелем), а подлинники.

Ханыков не расположен был к немецкой философии, представлявшей ему слишком абстрактной, тяжеловесной и отталкивающей своим схоластическим языком. Его влекли к себе жизнь, а не отвлеченность.

По складу своего ума Чернышевский еще менее, чем Ханыков, способен был довольствоваться отвлеченными логическими категориями, неприменимыми к действительности. Но Чернышевский еще не успел в ту пору освободиться от недавнего благоговейного трепета, какой незадолго до встречи с Ханыковым внушал ему (Чернышевскому) Гегель. Ему представлялось тогда, что истины, провозглашенные Гегелем, озарят все и дадут ему невозмутимый внутренний мир.

«Мне кажется, — писал он в октябре 1848 года, — что я почти решительно принадлежу Гегелю, которого почти, конечно, не знаю... Какое великое дело я решаю, присоединяясь к нему, то-есть великое дело для моего я, а я предчувствую, что увлекусь Гегелем...»

Удивительно, конечно, вовсе не то, что молодой Чернышевский с волнением и энтузиазмом брался за Гегеля, а то, что вскоре же, при более близком знакомстве с его философией, он без чьей-либо помощи со стороны вскрыл двойственность самой системы Гегеля, глубокое внутреннее противоречие между ее принципами и выводами, между ее методом и содержанием. Это могло быть под силу лишь совершенно зрелым, сложившимся умам, а Чернышевскому в ту пору шел лишь двадцать первый год.

Глубина и самобытность мысли юного Чернышевского сказались при первом же внимательном изучении им «Философии права», которую Ханыков дал ему для перевода отрывков из нее в конце января 1849 года. Он тотчас же подметил самую слабую сторону

в системе немецкого мыслителя: реакционность, умеренность и узорность его выводов.

Лет сорок спустя, уже незадолго до смерти, вспоминая об этих своих философских занятиях в молодости, Чернышевский писал: «В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы».

От взгляда юноши не укрылось тогда, что мысли Гегеля «не дышат нововведениями», что выводы его робки, что «он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества».

Примечательно, что и предшественники Чернышевского — Герцен и Белинский, — каждый по-своему, также способствовали освобождению русской философской мысли от ига «гегельяницыны». С нескрываемой и законной гордостью Герцен писал: «...Мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».

С такой же гордостью и Чернышевский впоследствии (в 1855 году) говорил о том, что развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершалось у нас собственными силами и не зависело ни от каких посторонних авторитетов. Об этом ярком поворотном моменте в истории русской общественной мысли рассказано в шестой главе «Очерков гоголевского периода русской литературы».

«Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества, — писал Чернышевский, — произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула

или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету».

Одного этого примера с Гегелем было бы уже достаточно, чтобы судить о проницательности молодого Чернышевского. Но есть еще и другие, не менее красноречивые примеры, говорящие о том же.

Каждое замечание Чернышевского о Фурье, высказанное им при первом знакомстве с сочинениями французского утописта, показывает, что Чернышевский сразу сумел обнаружить в них зародыши великих истин, скрытые под причудливым покровом. Не закрывая глаз на слабости французского мыслителя, на известную ограниченность его взглядов и неосновательность его притязаний, Чернышевский тем не менее понял, что это глава целой школы, которая, неоспоримо, займет значительное место в истории.

Форма, в которую были облечены рассуждения Фурье, напоминала порой Чернышевскому о гоголевских «Записках сумасшедшего», мистическая окраска иных мечтаний великого утописта заставляла Чернышевского сравнивать Фурье со средневековыми мистиками и с нашими раскольниками. И все же он сразу увидел, что в книгах Фурье таятся истоки плодотворных социальных идей.

В это же время Чернышевский познакомился с системой главы позитивистов — Огюста Конта, которая произвела на него неблагоприятное впечатление. «Может быть, это просто довольно ограниченная голова вздумала подвести под свою математическую систему социальные и исторические и философские науки», — кратко резюмировал Чернышевский.

Спустя более четверти века в письме к сыновьям из вилюйского острога он в несколько иных выражениях и более подробно повторил эту оценку позитивной философии «бедняги» Огюста Конта, «вообразившего себя гением».

Мысль Чернышевского смолоду не знала над собою слепой власти авторитетов. Истина была ему дороже любых имен, какими бы общепризнанными ни были эти имена.

Обнаружив ложную идею даже у великого мыслителя, он, не колеблясь, отвергал ее. Вот один из многих примеров. Известно, что Чернышевский всю жизнь был непримиримым противником «расовой теории» во всех ее разновидностях.

Начало такому взгляду Чернышевского на «расизм» было положено еще в университетские годы. Статья Е. Ковалевского «Негриция. Из путешествия во внутреннюю Африку», напечатанная в «Отечественных записках» в 1849 году, привлекла тогда внимание юноши потому, что автор ее, говоря о неграх, подчеркивал, что они «ровно ничем не хуже нас».

«...С этим я от души согласен, — пишет в дневнике Чернышевский, — когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народы (живущие) на север от Греции самим климатом и *своею расою* осуждены на рабство и варварство».

